

Моя первая любовь

Выдающийся театральный художник Сергей Бархин, отметивший только что свое 60-летие, предлагает читателям литературные зарисовки эпохи своей юности.

Ципа

Передо мной и подо мной — Сад Гейнсборо. Виднеется крыша Дома Констебля. Три видимых отсюда фасада других домов напоминают дворики Питера де Хоха.

Попискивают птицы — не пенцы, конец августа. Возникают и пропадают треск мотоциклов и шуршание автомобильных шин. А вот слышен и затихающий шум пролетевшего надо мной самолета.

Я покуриваю розовые и голубые сигареты "Собрания"...

В глазах, обращенных внутрь, другие и тоже счастливые картины незабвенных дней прошедшей жизни...

Летом олимпийского восьмидесятого я наконец стал обладателем уютной полуподвальной мастерской в давно знакомых местах в Теплом переулке. Рядом — в 53-м году — ЦИТО, где Владимир Николаевич Блохин так ловко залечил остатки моих пальцев самой дорогой правой руки. Я снова и снова вспоминаю тот первый год без пальцев и без Сталина, и привилегированную палату на двоих, где автор знака "Мастер спорта СССР" и сам мастер спорта по прыжкам с трамплина на лыжах, архитектор Адриан Алексеевич Овчинников давал мне первые уроки акварели. Из окна виднелась кирпичная улица с "Красной Розой", полная простых молодых женщин.

Я начинал перебираться жить в мою новую мастерскую, которая уже была вымыта, и наружные окна, выходящие в Теплый переулок, где непрерывным несмолкающим потоком постукивали каблукми улывающиеся женские ноги, были закрыты картоном для консервации.

В тот день состоялась заранее спланированная Володей Ципоркиным — Ципой — встреча школьных и дворовых знакомых, ранее, в пятидесятые годы, объединенных страстью к мотоциклам, а в последнее время — геологическими экспедициями, инициатором которых был университетский выпускник и специалист по золоторазведке Юра Будилин. Компания собралась чисто мужская, и всего нас было пять человек.

Володя — Ципа — принес все, что надо для длительной встречи: почти невиданную тогда финскую водку, пластмассовые стаканы, вилки-ложки, какую-то закуску и магнитофон с кассетами только что погибшего Высоцкого, в тот год казавшегося навечным участником всех московских вечеринок. Ципа умирал от счастья, слушая трагикомический хрип о нашей жизни.

Возглавлял эту днем начавшуюся вечеринку, конечно, шумный, энергичный, всезнающий Ципа, хорошо одетый, бывший таксист, а в то время захвоз и водитель финской фирмы "Нокия" от Управления делами дипломатического корпуса. Все приглашенные были прежде всего его друзьями. Он соединял в себе силу и простоватость Портоса и энергию Д'Артаньяна.

Роль Арамиса исполнял тонкий и резкий Юра Будилин, в шестьдесят шестом пригласивший меня в свою золотистокаскую партию на Северный Алтай в самый трудный момент моей жизни. Полгода ходил я с ним в трех- и пятидневные маршруты по водоразделам, ежедневно спускаясь к воде на ночь, неся с собой палатку, спальные мешки, ружья, соль, сахар, чай, лапшу и возвращаясь обратно с рюкзаками, полными образцов породы. Юра научил меня тогда рубить деревья маленьким топориком, разводил костер из бревен, прогревая землю, готовить ужин или завтрак из двух-четырёх рубчиков, стрелять из купленной за три рубля одностовки, пошедшей потом в "Соверменник", мисс Амелии в "Балладе о невеселом кабачке", научил определять местоположение по карте, компасу и склону, — в общем, научил быть индейцем и Ливингстоном. Это была лучшая школа.

На встрече скромно присутствовал радужный Толя Сенчагов по прозвищу Чугун. Лучший слесарь какого-то авиационного КБ, имевший право вдруг взять отпуск месяцев на пять и проездить из геологической партии на разбитом грузовичке, обеспечивая партию продуктами. Погиб он недавно, выйдя за проходную завода, не заметив несущегося на него автомобиля. Добрейший был человек. И это именно он сообщил мне, что Ципа-Ципоркин умер.

Наконец, последним, если не считать меня, был ироничный и умный Илья Сафонов, по мужскетерскому распределению — Атос, молчаливый и благородный.

Здесь надо бы остановиться и рассказать случай, происшедший со мной лет за десять до того.

Сафонов

И тогда, как и сейчас, жужжал в небе самолет, рассекали ветер машины, в отдалении лягли собаки, и солнце раскалывало воздух на горячий свет и спасительную тень.

Я шел по аллее Ваганьковского кладбища, где в скромных могилах похоронены мои предки — прабабушка, дедушка и бабушка, и няня — главная бабушка Груша, — чтобы, по просьбе мамы, которая теперь лежит здесь же, посеребрить старенький металлический

крест и черной масляной краской написать красиво (я был немного книжный оформитель и понимал в шрифтах) заново все имена. Наши могилы находятся налево от входа, неподалеку от могилы и надгробия семейства Шехтеля. Проходя по главной левой аллее близости от могилы Есенина, и бабушка Таня, и бабушка Груша, и мама всегда, все детство назидательно обращали наше внимание на заметное надгробие — сдвоенный крест розового гранита, — поставленное в память о двух сестрах, совсем молодыхеньких, которые умерли чуть ли не в один день, смертельно простудившись на балу, после жарких танцев выйдя на балкон. С самого детства я живо представлял себе этих двух принцесс (судя по памятнику, это вполне могли быть принцессы) в духе веласковских инфант. И все мы очень жалели этих сестричек и их родителей.

Проходя по этой аллее мимо памятника в описываемый день, я увидел на его участке группу пожилых дам, почти старух, и человека, который, сидя на корточках, высаживал цветы на соседнюю с принцессами могилу. В нем я узнаю друга моего близкого приятеля по бегу на "Красном знамени" Вити Евсеева и моего школьного знакомого. Имени его не могу вспомнить и не рискую подойти из-за скопления близких, хотя роль моего знакомого значительна и даже центральна в церемонии — это видно. Имея давнишний интерес к этим сестрам под розовым крестом, я очень хотел бы подойти, но как назвать его? Фамилию помню — Сафонов, а имя, убей меня Бог, вылетело. Поэтому, стараясь быть не замеченным им, прохожу дальше по направлению к своим святыням. Кладбище прохладное, зеленое, и жара не чувствуется здесь. Когда часа через два я сделал всю работу, разразился короткий ливень, и лишь после него я побрел домой.

Около "сафоновской" могилы уже никого не было. На кресте вижу надпись "Сафоновы" — это сестры, а внизу на отдельной дощечке — А.В.Тимирева. Неподалеку стоит и смотрит на меня высокая греческого вида, прямая, как свеца, дама лет восьмидесяти. Она устремляется ко мне, и я поспешаю к ней сам, вспомнив Сафонову как Илью, с вопросом, на который уже знаю ответ: "Не Илья ли здесь был?" — "Да, конечно". Гречанка рассказывает, что здесь похоронили саяту — Анну Васильевну Сафонову — тетушку Ильи, одну из множества дочерей пианиста, дирижера и директора Московской консерватории В.И.Сафонова, отсидевшую в лагерях с 1918 по 1955 год. "И я, — говорит, — с ней сидела". Она — актриса из Минска по фамилии Капнист. "Может, знаете русского драматурга?" — и достает из сумочки письма, документы о реабилитации, марки с портретом драматурга, свои фотографии и роли Бабы Яги ("все мое шоу с собой"), рассказывая все время про себя, драматурга, Анну Васильевну, ее мужа и возлюбленного — правителя Сибири адмирала Колчака, сестру Анны Васильевны — Елену, художницу из Питера, подругу Хармса и сотрудницу "Чижика и Ежа", всю жизнь прожившую у нас на Плющихе в доме книжного магазина на первом этаже, — другую тетю Илью, который оказался в Москве после блокадного Ленинграда, где у него все погибло.

Что здесь правда из того, что я запомнил, а что нет, только она рассказывала точно, и, главное, выходило, что Илья — племянник Колчака. В школе худощавый и жилистый Илья учился хорошо и отлично, но никогда не был в комитетах и считался, скорее, хулиганом, во всяком случае, дружил с ними, уже в те пятидесятые годы был рокером — часть плохо учившегося хулиганья бесконечно заводила и чинила мотоциклы, и среди них был незабвенный, светлой памяти Володя Ципоркин, с которым мы начинали в 46-м году еще первый класс. Отец Володи — летчик-испытатель — рано погиб. Я видел его надгробие на Еврейском кладбище. Матушка делала маникюры в нашем громадном и единственном обеспеченном во всей округе доме и была тиха, как овечка. Володя же вырос отчаянным хулиганом, мотогонщиком, потом уже шофером в посольствах. Разные были ребятишки рокерыми у нас на Ростовских переулках и Плющихе, и всех их знал Илья Сафонов, и они дружили. Одну из шуток Ильи я запомнил. Она была совершенно не характерна для него. Он был очень мягким и совсем незлым. По просьбе военрука Илья принес в школу чемоданчик с пулями для мелкокалиберного ружья для предстоящих соревнований и тихо поставил его на середину учительского стола. Мария Александровна крякнула, тиснетно пытаясь отодвинуть чемоданчик. Последний, к счастью, не было, так как Илья все любил,и, хотя шутка стала известна во всей школе и в дирекции.

Учились мы с Ильей в разных классах — он был на год старше. Про Елену Васильевну я ничего не знал, хотя мог бы (но я даже не помню великого реалиста Василия Бакшеева, жившего в соседнем с нами особнячке). Про Колчака нам вдалбливали только плохое. Эх, адмирал, адмирал...



В комитете ВЛКСМ. Фото начала 50-х годов

Трогательное я знал лишь про его малолетних племянниц — тетушек Ильи. Когда госпожа Капнист (Господи! Как ее звали?) мне все это рассказала, я очень хотел записать подробности, не зная, надолго ли все останется неизвестным. Но теперь, по словам моей сестры Тани, Илья и сам издал даже переписку Анны Васильевны с адмиралом. "Гречанка" боготворила обоих, рассказывая, как заключенные уважали бывшую фрейлину императрицы, как она всех поддерживала, как умывалась ледяной водой и как все вынесла. Так коротка, но незабываема была моя вторая, фактически не состоявшаяся, встреча с Сафоновым.

Не думал я тогда, что через много лет придется встретиться с Ильей в третий раз.

Высоцкий

Вот у меня в мастерской мы и встретились. Мы выпивали, болтали о советском житье-бытье. Люди все были свободные — карьеру не делали (может быть, кроме Ципоркина). Наверняка носились вообще тление, Олимпиаду и вообще Совдепию. Вспоминали разные истории из школьного детства и юношества. Вспоминали потерянных товарищей и героев округи, учителей, спившегося, одиозного после войны "юриста" Сашу, зарабатывавшего на выпивку беспроигрышными партиями в шашки, шахматы, карты и культурными пари, читавшего нам наизусть запрещенного Есенина за бутылку. Перечисляли как живые марки мотоциклов и происшествия с ними, и вдруг, кажется, Будилин так задумчиво спрашивает, а Сенчагов живо поддерживает: "А помните вы Гальку, Нельку и Аську Жариковых?" Кто-то поправляет: "Не Жариковых, а Жаровых". Спорят. Я сначала даже ничего и не сообразил. "Да, да, — поддержал Ципа, — за Нелькой ухаживал Сафонов". — "А помните, — продолжал Будилин, — как мы привязались к одному ее ухажеру, и Ципа как самый отчаянный и смелыйшй, вызвал его один на один и велел отвалить от Нельки!" "Да, да, помню, — прокричал сам Ципа. — Мы-то были в сатиновых шароварах, а он в брюках с пиджаком". Ципоркин презрительно-ноглумливо описывал нам его внешность, его примиряющее объяснение, что они-де с Нелькой дружат, а больше ничего. Играет магнитофон, Высоцкий надбывает, Сафонов молчит-улыбается, я и вовсе затаил дыхание.

Я уже сказал о значении Высоцкого для всех нас в то лето. Добавлю, что он был героем покрупнее маршала Жукова после Победы. Казалось, что он — навсегда, что он — альтернатива и презрение, и вызов всему коммунистическому рабству. Люди сходили с ума от его песен. Это была первая и главнейшая звезда нашей жизни.

Слушал Сафонов эти воспоминания, молчал, а потом и говорит: "Ребята, а вы знаете, кто это был?" Все — хором: "Кто?" — "Это был Высоцкий". Как гром прогремел. Ципа так и сел от ужаса, что обидел своего и нашего будущего кумира. Он помотал головой, словно прогоняя наваждение. Конечно, все успокаивали Ципу. Я про свои дела и не вспоминал. Трудно было заподозрить, что такой положительный Сафонов соврал или подтрунивал над Ципой. Я потом пытался проверить эту историю, даже спрашивал у Давида Борового, где жил и учился наш кумир, бывал ли он на Плющихе. Но тот ничего про это не узнал...

И тут пора начинать и свой роман, так как рассказом это никак не могу назвать.

И всегда у меня — треск пролетающего вертолета, призывные крики где-то далеко играющих детей, посвистывание птиц, шум ветра в листьях высоких лип, глухие стоны футбольного мяча о кирпичную стену. Сейчас, как и тогда.

И какой же роман без любви, и какая жизнь, и какая же молодая жизнь без любви, без торопливой, взволнованной страсти. Неизъяснимая, всепоглощающая влюбленность с самого детства, с младенчества одолевает нас.

Пришло время и мне поговорить о главной любви, о первой любви,

о волнении, недоумении и восторге при осознании того, что не только я могу любить что-то недоступное, большое и красивое, но и меня, маленького, слабого, может быть, даже прыщавого, не модного, застенчивого, еще не юношу, мальчика, кто-то может, если не полюбить, то чувственно мною заинтересоваться. Еще большее волнение охватило меня, когда я понял возможность взаимного интереса, нежности, тайны.

Мэрилин

Начная с пятого класса в нашей незабвенной 31-й школе, бывшей Алферовской гимназии, учителей (и, возможно, школьником) которой большевики расстреляли году в восемнадцатом, най-да там "оклад" оружия, самым выгодным, обращающим на себя внимание, как хвост павлина, отличием было обладание круглым значком спортивного разряда. Это были великопелные, почти как знаки Ордена Подвязки, выуклые блики с красной, синей и зеленой лентой-полосой под лавровым венком первого, второго и третьего разрядов и тонким серебряным барельефом вида спорта в круге посредине.

Возможность носить один, даже зеленый, значок говорила о том, что у обладателя есть вторая, параллельная жизнь с недоступными другим достижениями. Что говорить об обладателях двух значков, тем более красного цвета. Единственным в школе давады перворазрядником был юноша с пухловатым белым курносым лицом, хоть и не бедно, но и не стильно одетый, с двумя красными значками по велосипеду и стрельбе, видам, не таким уж престижным у школьников, возможно, из-за международной неизвестности или некомпантности. Другое дело — волейбол, футбол, гимнастика, бег и коньки. И хотя юноша был довольно невзрачным, он был совершенно известен всем еще и потому, что был сыном заменитого в районе тренаера по конькам и велосипеду по фамилии Бойтлер.

Тренер Бойтлер — немолодой, далеко за сорок, крупный сухопарый господин с изрезанными волевыми морщинками навсегда загорелым красным лицом немецкого летчика или полярика. Увидеть эту звезду района часто можно было на гоночном велосипеде в окружении десяти — двенадцати молодых спортсменов, пестро одетых в тренировочные костюмы юношей и девушек, едущих по Плющихе к Бородинскому мосту и далее. Встреча с этой кавалькадой тогда на фоне темной и бедной толпы производила впечатление турнира рыцарей на конях и в латах, во главе с королем Артуром. Это были спортсмены-профессионалы, возможно, замеченные и нужные стране или хоть райкому и этим отличающиеся от никому не интересной массы.

Среди гонщиков была очень заметна небольшая ослепительная блондинка нашего возраста. Нам было пятнадцать-шестнадцать лет. Пишу "нам", потому что меня отдельно как бы и не было.

Сейчас я могу сказать, что больше всего она была похожа на Мэрилин Монро в расцвете. Жила она в совершенной близости от нашего полукруглого громадного одиннадцатизэтажного дома архитекторов на горе над Москвой-рекой, в малосеньком домике, вход в который был из узкой темной сырой щели, отделяющей этот их домик от соседнего, к которой примыкал неведомый мне частный садик за забором. К фасаду нашего дома выходила глухая кирпичная брандмауэрная стена как одностактного жилища с земляным пустырем перед ней, полным битого кирпича и бутылок, на котором ребята играли в футбол, но чаще даже не играли, а "стучали" мячом в эту стену, за которой жила блондинка с сестрами. Блондинкой восхищалось множество местных хулиганов и старших заметных персонажей района. Один из моих друзей, чуть примыкающий к этим отчаянным бандитам, большинство которых пыталось ухаживать за ней, впрочем, совершенно почитительно и трепетно, имел право здороваться с ней. Не помню, как, но он умудрился и меня познатькомить или представить

ей (лучших слов нет, но это было не как у взрослых, а как-то незаметно для нас).

Ее звали Нелькой. Прошло сорок два года, а лицо ее бледное, небольшое, окруженное белыми локонами, с носом чуть уточкой и голубыми глазами, с длинными кукольными ресницами, вызывающие глядящими на меня, — незабываемо.

Не могу называть ее, как тогда, Нелькой. Нелли (пусть, как у Маршака) была конькобежкой и велосипедисткой, кажется, даже чемпионкой Москвы среди девушек, — воспитанницей Бойтлера. Призом за чемпионство был набор серебряных ложек, что тогда казалось почти дореволюционным богатством и о чем всем было известно. Семья ее была, конечно, бедной, но тогда еще я и не знал богатых девушек. Еще был жив Сталин, и, хотя на Никелиной горе, где мы жили летом, было полно красавиц из министерских семей, никто из них не был богат. Нелли отличалась от них тем, что тайла в себе будущую спортивную славу, красоту и успех, доказательства которых были явны.

Мои же достижения того времени были весьма скромны. В мои шестнадцать я занимался теннисом у Н.Н.Лео, где по разу играл на тренировках с будущими чемпионами А.Дмитриевой и В.Егоровым и здоровался со Славой Никитиным — теннисной надеждой Москвы, умершим через два года на сборах в Лужниках. Хотя учился я хорошо (это было почти ничто) и рисовал в школе стенные газеты, достижением моим было лишь премия на химической олимпиаде в МГУ. Правда, к тому времени в Москву пришел "стиль", и мама сшила мне костюм с курткой с карманами на молниях и узкими брюками из серого штапеля от портного первого стилиста Москвы, выпускника Архитектурного института Виктора Шапова. Портной этот жил на улице Огарева и едва ли не в той самой квартире, где я прожил счастливые 68-й и 69-й годы, играя каждую ночь с Евгением Львовичем Шифферсом в преферанс, и где мне впервые приоткрылся Свет.

Из моих достижений можно вспомнить еще лишь дружную компанию во дворе и мои три пальца на руке без верхних фаланг — в седьмом классе я попал под трамвай, что было известно всей школе и окрестностям. Из-за регулярных теннисных тренировок на "Динамо" я умудрился прилично пробежать на школьных соревнованиях 400 метров и стал бегать за школу на районных первенствах. Иногда ходил на стадион "Красное знамя" напротив родного тогда по кинофильмам Мельниковского клуба "Каучук" и даже тренировался в спортзале этого памятника архитектуры. Мой реликвийей были старенькие шиповки (большая редкость и ценность тогда), выданные мне в школе для соревнований, да так и оставшиеся у меня. Помню на ошупь каждый шип, да один вместе с японским панцирем-латами давно на помойке.

С Нелли я разговаривал всего два раза. Первый — на пустыре между нашими домами, когда мы не очень спортивной компанией были мячом об их стену и галдели, как птицы. Очевидно, крики наши и удары мяча были слышны за стеной, хотя окон в ней не было (остановить эту пытку мячом все эти пять, а может, и десять последующих лет возможности у родных Нелли не было). Голоса наши, видимо, были хорошо различимы, потому что Нелли, торжественно одетая и совершенно ослепительная и неотразимая, выходит из дома к нам на пустырь и, я чувствую, смотрит на меня так, как на меня больше никто никогда не смотрел. Только в фильмах Лючия Бозе могла так посмотреть на героя. Сильная волна не воздуха — энэргии прямо обила меня с ног. Дыхание остановилось, и я чувствовал лишь сердце.

Общий футбол тоже кончился. Я не знал, что мне делать. Мы немного поговорили ни о чем все вместе. И все кончилось.

Другой раз я шел от клуба "Каучук" по Плющихе. Из ворот стадиона вышел с шиповками мой знакомый по рисованию в Доме пионеров Царев. Он сказал, что

изредка сам тренируется здесь. Я даже не подозревал о такой частной возможности. В это время Царев учился во ВГИКе и уговаривал и уговарил и даже отвел меня туда с работками, чтобы поступать. И вот идем мы медленно и говорим об этом, а навстречу нам — Нелли (тогда Нелька, а хотелось бы Нелинька). Увидев ее, Царев ахнул от восхищения. Каким-то чудом я заворачиваю ее в наше направление, и мы вдвоем идем дальше весь отрезок Плющихи от особняка гинеколога Снегирева, построенного Клейном, до ее дома в Шестом Ростовском, причем по переулку мы идем уже вдвоем. Пройтись с ней вдвоем — тогда это было больше, чем сейчас выпивать с Настасьей Кински. Я говорил и смотрел на нее и смотрел в смущении под ноги, и до сих пор помню ее стоптанные черные туфельки, намазанные гутиалином, и белые носки. Я не помню расставания, но нам было ясно, что мы будем вместе. Мы договорились о встрече.

Но на следующий день папа принес горящие путевки в Суханово, где мы должны были с Таней и мамой провести июнь. Август предстоял в Судаке. Все это было перед десятым классом, то есть последним школьным летом. Суханово было жарким и тоскливым. Три бильярдных стола, библиотека с "Повелителем блох" Гофмана, "Братьями Земганно" Гонкура, Мережковским, Эженом Сю, Рокамболом и прочими не известными советским детям книгами. Пруд и лодки, рисование на природе, дружба со стареньким Гурьевым-Гуревичем. Жили мы в солнечной, самой дальней комнате за кинозалом в пристройке ко двору. Это было долгая, занудная идиллия, без молодежной компании, без девушек, но с любовью и досадой на неслучившееся.

Иногда мы звонили в Москву бабушке-няне Груше. Однажды она очень строго и заботливо посоветовала нам не кататься на велосипедах, потому что — вот и одна девочка у нас во дворе разбиранс... У меня душа упала. Я молил Бога, чтобы это не была моя Нелька, Нелинька!

Конец Суханова был скомкан. Вернувшись в Москву в середине лета, когда и ребят-то никого не было, я все же разузнал, что случилось. Что это была Нелли, я уже понял.

На тренировке на велосипеде где-то на шоссе она с бешеной скоростью врезалась в борт грузовика и разбила грудь насмерть. Успела сказать свой адрес и фамилию и умерла. Лицо ее не портидало — только грудь.

Рассказывали, что на похоронах был запержен ребятами весь пустырь и цветами завалили гроб.

Я так и не узнал, в какой школе она училась. Только потом немного дружил с ее сестрой Асей. Она тоже была хороша и тоже конькобежка, и даже для меня преувеличивала свои успехи в спорте, и вспоминала Нелькин приз — ложки.

Может быть, всего год я с грустью вспоминал Нелиньку. Потом пошли другие влюбленности, романы, трагедии. Только уже не было той, первой, любви. Тогда я уже знал, что и я достоин любви очень красивой и известной девушки, и перестал быть застенчивым.

Прошло множество лет с тех пор. Прошло уже почти двадцать лет с той нашей мужской встречи в моей мастерской. И уже многие свидетели той трагической смерти Нелли тоже умерли, я говорю о моих друзьях по двору, дому и школе. И времена приходили другие. А неудач и потерь моих в любви все прибавлялось. Иногда казалось, что они меня сведут с ума.

И все же сегодня, когда мне уже поздно (чур меня) надеяться на влюбленность, да и не дай Бог, я могу с уверенностью сказать, что это была самая большая сердечная потеря. Погибла моя любовь, и не просто первая. Любил я и до того — с трех лет. И даже мне признавались в чувствах.

Разбилась Нелли, и разбилась моя первая ВЗАИМНАЯ любовь.

Сергей БАРХИН
15—20 августа 1997 г. Хемистда
Дом Михаила Анникста